

A romantic couple is shown in a close embrace. The man, with a beard and wearing a black shirt, is holding the woman's face. The woman has long brown hair and is wearing a black top. They are in a dimly lit room with a city skyline visible in the background.

Элина
ВОЛКОВА

Одна ночь
НЕ СЧИТАЕТСЯ,
БОСС

Элина Волкова

Одна ночь не считается, босс

«Автор»

2026

Волкова Э.

Одна ночь не считается, босс / Э. Волкова — «Автор», 2026

Вероника получает работу мечты в петербургском реставрационном бюро и клянётся держаться подальше от босса. Глеб Седов сам написал правило, запрещающее романы на работе. Но одна штормовая ночь, о которой оба договорились забыть, ломает все договорённости. Теперь им придётся выбирать: прятать чувства или рискнуть всем ради дома, который они спасают вместе.

© Волкова Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая	6
Правила	6
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	18
Глава 5	21
Глава 6	24
Глава 7	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Элина Волкова

Одна ночь не считается, босс

Одна ночь не считается, босс

роман

Часть первая

Правила

Глава 1

Пункт 7.4

Ника

Договор я читаю в коридоре, на широком подоконнике, поджав под себя ногу. За столом отдела кадров такие вещи читать нельзя: сидишь под чужим взглядом и чувствуешь себя обязанной подписать побыстрее.

У меня есть два закона. Первый: никогда не подписывать то, что не прочитано до последней запятой. Второй: никогда, ни при каких обстоятельствах не связываться с начальником. Первый я придумала в двадцать два года, второй в двадцать шесть, после Москвы. Первый сберёг мне много нервов. Второй обошёлся мне в два года жизни, но это отдельная история, и сегодня я не собираюсь её вспоминать.

Сегодня у меня первый рабочий день в «Литере».

Бюро занимает второй этаж бывшей типографии на Моховой. Кирпичные стены, потолки метра в четыре, чертёжные столы вдоль окон, на каждом по лампе и по кружке с остывшим кофе. Пахнет бумагой, пылью и чем-то тёплым, как в хорошей библиотеке. В Петербурге литейной называют отдельный корпус внутри одного адреса: литера А, литера Б. Дом один, а частей в нём много, и у каждой своя судьба. Мне нравится это слово. Оно про внимательность: чтобы не перепутать, надо смотреть.

Я добираюсь до седьмой страницы и перестаю улыбаться.

«7.4. Сотрудники, состоящие в близких личных отношениях, обязаны в течение трёх рабочих дней письменно уведомить об этом управляющего партнёра. Сотрудники, находящиеся в прямом подчинении друг другу, не вправе состоять в близких личных отношениях. Нарушение настоящего пункта является основанием для расторжения договора».

Я перечитываю дважды. Потом тихо фыркаю, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

- Вы дошли до семь-четыре, - раздаётся над головой весёлый голос. - Поздравляю, Ксения проиграла мне кофе, а я теперь буду пить его неделю и вспоминать вас добрым словом.

Передо мной стоит девушка лет двадцати четырёх с ярко-рыжим каре и бейджем «Ксения, помощник управляющего партнёра». В руках у неё две кружки, одну она тут же протягивает мне.

- Вы ставили на то, что я не дойду? - спрашиваю я, принимая кофе и невольно улыбаясь в ответ.

- Нет, я ставила на то, что вы дойдёте быстрее, - качает головой Ксения и устраивается рядом на подоконнике, как будто мы сто лет знакомы. - Обычно все спотыкаются на пункте про коммерческую тайну и подписывают дальше не глядя. А этот пункт, между прочим, Глеб Андреевич писал лично. Говорят, после него в бюро отменилось пять свадеб.

- Свадеб? - переспрашиваю я и поднимаю бровь. - Серьёзно?

- Ну, не совсем свадеб, - она смеётся и машет рукой. - Скорее намерений. Хотя один проект-менеджер всё-таки уволился ради бухгалтера, и теперь они вдвоём держат пекарню в Выборге. Счастливы, говорят, до неприличия. Так что пункт работает, и работает идеально. Он у нас вообще самый исполнительный сотрудник.

Я делаю глоток. Кофе обжигающий, крепкий, без сахара. Мысленно ставлю Ксении плюс.

Подписываю договор прямо на подоконнике, прижав листы к колену. Подпись выходит ровной. Рука почти не дрожит. Почти.

Главный архитектор бюро ждёт меня в мастерской, и первое, что я там вижу, это макет. Он занимает весь центральный стол: четырёхэтажный дом из бумаги и гипса, выкрашенный в охра, без крыши, чтобы было видно внутренности. Масштаб один к пятидесяти. Крошечная

парадная лестница, крошечные арочные окна, крошечный фронтон с крошечной надписью «Круглов и сыновья. Чай».

Я знаю этот дом. Я знала его ещё из Ярославля, по фотографиям из чужих архивов: Седьмая линия Васильевского острова, доходный дом девяносто третьего года, потом коммуналки, потом ничего, потом заколоченные окна. Когда «Литера» выиграла городской конкурс на его реставрацию, я неделю не могла заставить себя писать им письмо. Казалось, если напишу, обязательно всё испорчу.

Я написала. Испортить пока не успела.

- Вероника Сергеевна, - Ирина Марковна Зак не поворачивается от макета. Ей лет пятьдесят семь, у неё короткая седая стрижка, очки на цепочке и жилет с огромными карманами, в одном из которых, судя по шороху, живут леденцы. - Не садитесь, пожалуйста. Стойте и смотрите, пока я не спрошу. Я давно заметила, что человек, который сел, начинает рассказывать то, что хочет сказать, а человек, который стоит, рассказывает то, что думает. Итак, что вы сделаете в этом доме в первую очередь?

Правильный ответ я знаю. Историко-архивные изыскания, обмеры, зондажи, фиксация, консервация аварийных участков. Я могла бы отбарабанить его даже во сне. Но она спрашивает таким тоном, что правильный ответ, кажется, провалит меня с позором.

- Поздороваюсь, - говорю я, и сама слышу, как нелепо это звучит.

Ирина Марковна наконец оборачивается и смотрит на меня поверх очков, не мигая.

- С кем, простите?

- С домом. - Я пожимаю плечами и стараюсь говорить уверенно, хотя внутри всё сжимается. - Он три года простоял с заколоченными окнами, в парадной жили голуби, на лестнице что-то обрушилось, а люди ходили мимо и делали вид, что его нет. Мне кажется, нужно сначала дать ему понять, что мы пришли не добивать. А уже потом обмеры и зондажи.

Она запускает руку в карман жилета, достаёт леденец «Барбарис» и медленно разворачивает фантик.

- Сентиментальность, Вероника Сергеевна, обычно первый признак халтуры. Я видела десятки молодых специалистов, которые разговаривали со стенами, а потом сдавали акты с ошибками в расчётах.

- А мне кажется, что это первый признак того, что человек не собирается халтурить, - отвечаю я, чувствуя, как горят щёки. - Те, кто разговаривает со стенами, потом очень боятся эти стены испортить.

В мастерской становится тихо. Потом Ирина Марковна отправляет леденец в рот и впервые за всё время улыбается, одним уголком губ.

- Правильным ответом были обмеры и зондажи. Вы его, конечно, знали, и всё-таки сказали другой. Любопытно. Вы это сделали нарочно или просто не смогли удержаться?

- Скорее второе, - признаюсь я. - Правильный ответ вы бы услышали от любого из сорока трёх кандидатов. Ксения проговорила, что их было так много. Вы же взяли не за правильные ответы.

- Ксения проговаривается только по заданию, имейте в виду. - Она снова поворачивается к макету и проводит пальцем по крошечному карнизу. - Ваше тестовое получило девяносто четыре балла из ста, а следующее было на тринадцать баллов ниже. Конверты с фамилиями мы вскрыли только после подсчёта, потому что Глеб Андреевич настоял, чтобы и он, и я, и приглашённый эксперт оценивали работы под номерами. Он называет это гигиеной, я называю занудством. Но сегодня его занудство играет вам на руку: никто в этой комнате не сможет сказать, что вас взяли за красивые глаза.

Я чувствую, как внутри что-то расслабляется. Какая-то струна, которую я, оказывается, держала натянутой с самой Москвы. Мои глаза никто не видел, пока не посчитали баллы. Спасибо анонимности. Спасибо занудству.

Дверь мастерской открывается без стука.

- ...нет, график платежей мы не двигаем. Я сказал: нет. Если фонд хочет пересматривать условия, пусть присылает письмо, а не звонит мне в девять утра. Да. Всего доброго.

Вошедший убирает телефон в карман и поднимает голову. Высокий, под метр девяносто. Тёмные волосы, виски уже тронуты сединой. Серая рубашка, рукава закатаны до локтей, на запястье простые часы на потёртом ремешке, в нагрудном кармане карандаш. Лицо спокойное и очень закрытое: такие лица бывают у людей, привыкших, что за ними наблюдают.

Он смотрит на меня так, как я смотрю на стену перед обмером. Оценивает, где поплывёт.

- Вероника Сергеевна. Глеб Седов.

Ладонь у него сухая и тёплая, рукопожатие вежливое и короткое. Ровно столько, сколько нужно, чтобы считаться рукопожатием. Я убираю руку и почему-то хочу вытереть её о джинсы. Не вытираю.

- Вы подписали договор? - спрашивает он. - Прочитав его до конца, а не по диагонали, как это обычно делают? Я заметил, что вы сидели в коридоре почти сорок минут.

- Подписала. И прочитала до последней запятой, - отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. - У меня такое правило. А вы, судя по всему, следите за тем, кто сколько сидит в вашем коридоре?

- Я слежу за тем, кто сколько читает. Это разные вещи. - Он чуть склоняет голову набок. - Тогда у вас наверняка есть вопрос про пункт семь-четыре. Он всегда есть, и обычно его задают с таким лицом, будто хотят меня в чём-то уличить.

Я могла бы промолчать. Правильнее всего было бы промолчать, потому что это мой начальник, мой первый день, и вообще.

- Скорее предположение, чем вопрос, - говорю я. - Мне показалось, что автору этого пункта в жизни попадались очень плохие примеры, и он решил, что проще запретить, чем разбираться в каждом случае отдельно.

Ирина Марковна тихо хмыкает у меня за спиной. Седов не улыбается. Что-то на секунду меняется в его лице, словно в комнате хлопнула далёкая дверь, и тут же возвращается на место.

- Попадались, - произносит он ровно, глядя куда-то мимо меня. - Но разбираться в каждом случае отдельно у меня, к сожалению, нет времени. В бюро два правила, Вероника Сергеевна: не опаздывать и не врать. Всё остальное обсуждается. Дом Круглова наш главный проект, и на стадии изысканий вы подчиняетесь напрямую мне, без промежуточных звеньев. Ирина Марковна отвечает за архитектурную часть, вы за реставрационную. Вопросы есть?

- Один, - говорю я. - Почему напрямую вам? Обычно управляющие партнёры не работают с новыми сотрудниками так близко.

- Потому что от решений на этом доме зависит, будет ли у бюро следующий проект, - отвечает он, и в голосе слышна усталость, которую он тут же прячет. - Я не хочу узнавать о проблемах из третьих рук. Лучше услышать плохую новость сразу, чем хорошую, когда она уже протухла.

Он кивает Ирине Марковне, разворачивается и выходит. Всё занимает минуты три. В воздухе остаётся запах чего-то свежего и холодного, вроде мяты и дождя, и я злюсь, что заметила это.

- Не обращайтесь внимания, - говорит Ирина Марковна, не отрываясь от макета. - Он всегда так, это не вам лично. Привыкнете.

- Конечно, - отвечаю я. - Только я не собираюсь привыкать.

Ксения догоняет меня в коридоре, запыхавшаяся, с маленьким бумажным пакетом, и сразу же начинает тараторить, будто боится, что я исчезну.

- Вот, это вам! Он у нас один, второго нет, потеряете - Глеб Андреевич вас съест. Ладно, не съест, но посмотрит так, что вы сами захотите уволиться. Откройте, пожалуйста, я хочу видеть ваше лицо.

В пакете лежит ключ. Чугунный, тёмный, тяжёлый, длиной с мою ладонь, с большой фигурной головкой. Ключ от парадной Дома Круглова. Единственный, который уцелел: остальные потерялись при советской власти.

Я держу его обеими руками, как птицу.

- Здравствуй, красавица, - шепчу я.

- Вы только что поговорили с ключом? - Ксения прикрывает рот ладонью, но глаза у неё смеются.

- Я здороваюсь с домами, - объясняю я без тени смущения. - И с их ключами тоже. Это профессиональное, не обращай внимания. Бабушка говорила, что вещь, с которой не поздоровался, потом три года будет тебе назло ломаться.

- Прикольно. Знаете, Глеб Андреевич тоже собирает ключи, у него целый ящик в кабинете. Только он с ними не здоровается, - Ксения многозначительно поднимает палец. - Он их просто хранит, как другие хранят старые письма. Я один раз видела, как он стоял над этим ящиком минут десять и ничего не делал. Просто смотрел.

Вечером, выходя на Моховую, я достаю из сумки блокнот и пишу на последней странице, пока ветер треплет листы:

«1. Работать.

2. Не быть удобной.

3. Начальник это просто начальник».

Подумав, подчёркиваю слово «просто». Два раза.

Глава 2

Слепой конкурс

Глеб

Я не люблю, когда мне нравятся новые сотрудники. Это вредит объективности.

Поэтому, когда дверь за Вероникой Лебедевой закрылась, я немедленно занялся делом: выписал на лист три претензии, которые у меня к ней есть. Опоздание на четыре минуты на утреннюю планёрку, которая у неё должна была быть в десять сорок, но она не знала. Нет, это моя претензия к Ксении. Манера говорить то, что думает, не просчитав, кому это адресовано. Непонимание иерархии.

Третий пункт я зачеркнул. Иерархия ей, видимо, известна. Она просто не собирается перед ней трепетать.

Я откладываю ручку и откидываюсь на спинку кресла. Кабинет у меня небольшой, с одним окном во двор. Кабинет с видом на улицу занимает переговорная, и я считаю это правильным: приятный вид отвлекает клиентов от цифр. На стене чертёж лестницы Дома Круглова, привезённый из архива, рядом календарь с красными датами, их слишком много.

Сорок три человека откликнулись на вакансию руководителя реставрационного направления. Мы с Ириной просмотрели резюме и отобрали восемнадцать. Потом Ксения заменила в тестовых заданиях фамилии на номера, и мы с Ириной и профессором Бейном оценивали по отдельности, не обсуждая. Тестовое задание было простое и злое: по фотографиям и обмерам аварийной лестничной клетки составить программу реставрации интерьеров и обосновать приоритеты. Большинство прислали правильные схемы. Работа номер семнадцать была живой.

Я до сих пор помню абзац из неё, который заставил меня остановиться на кухне посреди ночи. Про известковую штукатурку: «Она дышит. Если закрыть её цементом, она не умрёт, но станет вести себя как человек, которого заставили молчать: сначала терпит, потом трескается там, где вы не ждали». И дальше расчёты. Таблицы, сметные коэффициенты, сроки просушки, всё сухо и точно. Никакого сентиментального тумана.

Когда баллы подсчитали, конверты вскрыл Бейн. Он прочитал вслух: «Лебедева Вероника Сергеевна, двадцать восемь лет, Ярославль». Я не знал ни лица, ни голоса. Только текст. И это важно, потому что я тридцать семь лет живу с точным знанием, что бывает, когда начальник принимает решения, глядя на человека, а не на работу.

Я открываю нижний ящик стола. Он у меня с замком, но замок давно сломан, и я его не чиню. Внутри на потёртом сукне лежат ключи. Четырнадцать штук, каждый с бумажной бирочкой: адрес и год. Ключ от дома на Лиговском, снесённого в две тысячи десятом. Ключ от подъезда на Таврической, где теперь стеклянный офис. Ключ от дачи, которой больше нет, и от мастерской, которую я не смог отстоять. Для Дома Круглова ключа в этом ящике нет. И не будет, пока я жив. Тот, единственный, что уцелел, теперь у неё.

Странно, что я об этом думаю.

В дверь стучат.

- Глеб, у тебя Кравец, - сообщает Ксения, которая в рабочее время со всеми на «вы», а мне перестала выкатывать на втором месяце работы. Она стоит в дверях, прижимая к груди планшет, и смотрит на меня с выражением человека, который заранее извиняется за плохие новости. - Просит всего пять минут. Говорит, что был рядом и решил заглянуть на чашку чая.

- Денис Кравец никогда не бывает рядом, - отвечаю я, не поднимая головы от бумаг. - Он бывает только там, где ему что-то нужно. Если он заехал без звонка, значит, у него уже есть ответ на вопрос, который я ещё не успел задать.

- Я так и сказала себе, когда увидела его машину у подъезда, - вздыхает Ксения. - Пустить?

Денис Кравец входит так, как входят люди, привыкшие, что двери открываются заранее. Сорок один год, дорогие часы, скромный пиджак, который стоит как моя машина. Его фонд «Северный капитал» владеет тридцатью процентами «Литеры». У меня сорок пять, у Ирины двадцать пять. Вместе мы держим бюро на плаву, и все трое делаем вид, что нам это нравится.

- Глеб Андреевич, - улыбается он и протягивает руку. - Давайте уже перейдём на «ты», мы ведь партнёры. Просто «Глеб» и «Денис». Я каждый раз чувствую себя нотариусом, когда обращаюсь к вам по отчеству.

- Мы договорились, что вы звоните, если собираетесь приехать, - напоминаю я, пожимая руку. - Но раз уж вы здесь, садитесь.

- Я был рядом. - Он садится, не дожидаясь приглашения, и оглядывает кабинет с лёгким любопытством, как будто оценивает мебель на аукционе. - Слышал, у вас новая звезда. Реставратор из Ярославля, которая, говорят, переспорила Ирину Марковну в первые же пять минут. Мне очень хочется, чтобы она оценила наш лифт.

Вот оно. Я мог бы догадаться по первой фразе.

- Какой лифт?

- Тот, который мы с вами обсуждали весной. Панорамный, в проёме парадной лестницы, - он говорит это так легко, словно речь о кофемашине. - Пятизвёздочный отель в историческом доме, Глеб, это не музей. Гостям не нужна чугунная лестница на двести ступеней, которую надо мыть и бояться за каждую балясину. Гостям нужен лифт, спа и номера с видом на Неву.

- Дом Круглова не стоит на Неве, - замечаю я.

- Он стоит рядом, а для маркетинга этого вполне достаточно.

Я молчу. Говорить сейчас бесполезно: он ждёт, пока я начну спорить, чтобы сделать вид, что идёт на уступки.

- Мы выиграли конкурс на реставрацию, Денис, а не на реконструкцию, - наконец произношу я спокойно, но чувствую, как стучит в висках. - Охранное обязательство включает парадную лестницу и все сохранившиеся элементы отделки, и вы это читали. Ваши юристы читали это три раза, потому что я лично отправлял им копии.

- Читал, конечно. И читал ваши обещания комитету про «бережное приспособление», - Кравец улыбается и кивает на чертёж лестницы на стене. - Бережное, Глеб, это такое, которое можно продать. Я искренне надеюсь, что ваш новый специалист разумный человек и реалист. Мне бы не хотелось выяснять, что будет, если окажется иначе.

- Она реставратор, - отвечаю я.

- Это не ответ.

- Это единственный ответ, который у меня есть, и другого я вам не дам.

Кравец смотрит на меня довольно долго. Потом поднимается и поправляет манжету.

- Кстати, я прочёл ваш обновлённый договор. Пункт семь-четыре. Красиво, ничего не скажешь, - улыбка у него очень мягкая, она как мягкий подбородок у человека, который уже решил, кого укусит. - Мне просто любопытно, сколько он продержится, пока его не проверят реальностью. Знаете, жизнь иногда оказывается изобретательнее регламента.

- Он продержался одиннадцать лет.

- В вашем случае я не сомневаюсь.

Он уходит. На столе остаётся запах дорогого парфюма, на душе осадок, как после разговора с человеком, который ни разу не повысил голос. С такими опаснее всего: они не ссорятся, они покупают.

Я встаю и подхожу к окну. Внизу светятся огни, мимо идёт кто-то в ярко-жёлтом дождевике, ветер разворачивает на заборе афишу. Привычный вид, привычный вечер, привычное чувство, что на мне слишком много ответственности и слишком мало союзников.

Союзники. Я думаю о женщине, которая сегодня утром, не моргнув, сообщила, что автору пункта семь-четыре, видимо, попадались плохие примеры.

Хорошо сказано. Слишком хорошо.

Мне было пятнадцать, когда мой отец, Андрей Седов, основатель бюро, на юбилее фирмы, при двухстах гостях, позволил себе посмотреть на свою помощницу так, что даже слепой понял бы, что за этим взглядом стоят два года. Я стоял в дверях банкетного зала с бокалом лимонада и видел, как лицо моей матери стало белым, как скатерть. Помощницу уволили через неделю. Отец сохранил за собой кабинет и статус. Мать забрала сестру и уехала к своей сестре в Псков. Половина сотрудников бюро ушла в течение полугода. Те, кто остался, ещё долго не здоровались с отцом в коридорах.

С тех пор у меня одно правило, и оно записано в договорах. Я не берусь судить, справедливо оно или нет. Оно просто работает. Пока в бюро нет романов между теми, кто подчиняется друг другу, никто не страдает.

Я закрываю шторы. Беру со стола лист с тремя претензиями и аккуратно рву его пополам. Не потому, что претензии неверны. Просто завтра они будут выглядеть смешно.

«Она будет моим сотрудником, - думаю я. - Лучшим, если повезёт. И всё».

Фраза получается ровная, убедительная и очень знакомая. Именно такими фразами я успокаивал себя последние одиннадцать лет, и ни разу они не понадобились дважды.

Глава 3

Дом на Седьмой линии

Ника

Дом Круглова встречает нас дождём. Это правильно. Мне кажется, он давно привык, что люди видят его только мокрым.

Мы выходим из машины на Седьмой линии Васильевского острова. Нас четверо: Глеб Андреевич, Артур Панкратов, старший архитектор бюро, прораб Пётр Михайлович Рябов, которого все зовут Михалыч, и я. Михалыч встречает нас у ворот, широкоплечий, в брезентовой куртке, с рулеткой на поясе и выражением лица человека, которому на этом объекте уже не раз объясняли, как надо работать.

Я поднимаю голову.

Охристый фасад в четыре этажа. Штукатурка осыпалась кусками, как старая кожа, из окон первого этажа торчат фанерные щиты, над ними фигурные наличники с отбитыми завитками. На фронтоне с трудом читается полустёртая надпись: «Круглов и сыновья». Слова «чай» уже нет, его смыло лет сто назад. Дом выглядит как старик, у которого отняли очки, трость и фамилию, а он всё равно держит спину.

- Здравствуй, красавица, - говорю я себе под нос.

- Простите, что? - переспрашивает Артур. Ему тридцать три, у него чистые ботинки, дорогая куртка и безупречно вежливый голос, из которого, тем не менее, никак не получается вытравить нотку снисходительности. - Вы что-то сказали про красавицу?

- Это я с домом, - объясняю я и пожимаю плечами. - Привычка. Лучше поздороваться сразу, а то потом он будет мстить сквозняками и осыпающейся штукатуркой.

Артур приподнимает бровь и обменивается взглядом с Михалычем. Михалыч отводит глаза, делая вид, что очень занят рулеткой. Глеб Андреевич вообще не реагирует. Он смотрит на фасад так, как будто видит его в первый раз, хотя я знаю, что он провёл здесь целый месяц ещё на стадии конкурса.

Мы заходим в парадную. Тяжёлая дубовая дверь, с которой облупился лак и осталась только почерневшая древесина, поддаётся мне не сразу. Я вставляю чугунный ключ в замок, поворачиваю, и дом выдыхает: изнутри тянет сыростью, кошками, старой краской, чем-то сладковатым, как забытые на подоконнике яблоки.

Лестничная клетка огромная. Пролёты идут вверх широкими маршами, перила кованые, местами заменённые чем-то деревянным и совершенно безобразным, видно, что в разные эпохи их чинили разные люди и каждый по-своему. Стены окрашены в десять слоёв масляной краски, на уровне глаз облупились, и сквозь них проступают другие цвета. Потолок высотой почти в шесть метров, там, наверху, угадывается лепной карниз. Капает где-то в глубине. Метроном маленького дождя.

Я стою посреди этого великолепия и чувствую, что у меня горят щёки.

- Вероника Сергеевна, - голос Седова нарушает тишину. Он стоит на нижней ступеньке и смотрит на меня без выражения. - Вы у нас эксперт по штукатуркам, во всяком случае так написано в вашем резюме. Прочитайте мне эту стену. Я хочу услышать не общие слова, а то, что вы видите прямо сейчас, своими глазами и своими руками.

Это испытание, и все понимают, что это испытание. Артур скрещивает руки на груди. Михалыч прячет улыбку в усы.

Я достаю из сумки шпатель, маленький, с деревянной ручкой, подарок бабушки. Подхожу к стене, выбираю участок, где облупилось больше всего, и аккуратно, миллиметр за миллиметром, снимаю слой.

- Верхний слой, - говорю я, не оборачиваясь, - это масляная краска, зелёная, шестидесятые или семидесятые годы, тогда красили всё в зелёный цвет, потому что это дешево и успокаивает жильцов. Под ним клеевая, бежевая, довоенная. А ещё ниже, смотрите, - шпатель скользит по краю, я наклоняюсь, дую на пыль и трогаю подушечкой пальца, - известковая штукатурка с росписью. Видите, здесь тёплый охристый оттенок, а на границе остаток орнамента. Скорее всего, имитация гобелена: на стенах парадных лестниц в девяностых годах девятнадцатого века любили делать такое, покрывали стену лёгким рисунком, чтобы лестница не казалась голой. Штукатурка живая, трещин немного, её можно спасти. Если только нигде не лежит цемент.

- Лежит, - буркает Михалыч и неохотно подходит ближе. - В пятидесятых по всей лестнице заплатки ставили, а чем ставили, сами понимаете: что на складе было, тем и ставили. Цементом, конечно.

- Тогда по заплаткам придётся работать вручную, - киваю я, не отрываясь от стены. - И небыстро, Пётр Михайлович. Каждый квадратный метр придётся вскрывать и смотреть, что под ним.

- Нам не нужно «небыстро», - вставляет Артур, и голос у него звучит так любезно, что я невольно напрягаюсь. - У нас есть лазерное сканирование, модель в формате BIM, программа, которая выделит все слои автоматически. Это занимает неделю и не требует, - он взмахивает рукой в сторону моего шпателя, - сидеть на корточках перед каждой трещиной. Простите за прямоту, но это выглядит немного кустарно для бюро такого уровня.

Я поднимаюсь. Смотрю на него долго, чтобы не сказать лишнего.

- Лазерный сканер видит поверхность, Артур, и видит её прекрасно. Но он не знает, что под ней, и не знает, что эта поверхность пережила. Он выдаст вам красивую картинку, на которой цементная заплатка будет выглядеть ровно так же, как подлинная штукатурка, а потом вы спишете её вместе с росписью, потому что программа так решила.

- Артур, - негромко говорит Седов.

Это не окрик. Это даже не замечание. Это просто имя, сказанное без интонации, как фамилия в списке. Но у Артура мгновенно меняется лицо.

- Мы здесь не для того, чтобы вам было удобно, - продолжает Седов тем же ровным голосом, не повышая тона. - Сканер вы запустите, это нужно для модели, и к концу недели я хочу видеть результат. Но решения о том, что трогать, что сохранять, а что снимать, будет принимать Вероника Сергеевна. Это записано в приказе, который вы, насколько я помню, подписывали лично. Вопросы?

Артур молчит. Потом вежливо улыбается:

- Никаких, Глеб Андреевич. Всё предельно ясно.

В его улыбке, как в хорошо отполированной монете, ничего не отражается. Но я понимаю, что нажила врага, и он не из тех, кто выскажет претензии в лицо.

Мы идём вверх. На втором этаже в коридоре стоит холод, на третьем пахнет сырой штукатуркой и голубями, на четвёртом сквозь дыру в кровле льётся серый свет. Я трогаю всё, до чего дотягиваюсь: перила, оконные откосы, дверные наличники. Мне кажется, что дом слушает.

На площадке между вторым и третьим этажами я останавливаюсь.

Здесь лестница делает поворот, и на уровне площадки в стене должно быть большое окно. Это видно по пропорциям: арочная ниша, широкий подоконник, откосы нужной высоты. Но вместо окна на уровне лестничной клетки стоит плоский щит из потемневшей фанеры, прибитый гвоздями и скобами. Фанера сырая и вздувшаяся, по её краям рисунки подтёков.

Я кладу ладонь на щит. Холодный. Потом прикладываю ухо.

- Вероника Сергеевна, что вы делаете? Вы...

- Тише, пожалуйста, - прошу я и стучу костяшками пальцев. Звук глухой, но в нём слышно пространство. Не плотная стена за фанерой, а пустота. И ещё что-то. Я замираю. От щита по моему запястью тянет тонкой струйкой воздуха, живого, сквозного. - Здесь дует. Не

просто тянет по лестнице, а именно из-за щита, ровной струйкой. Там, за фанерой, есть щель, и этот сквозняк идёт откуда-то снаружи.

- В заброшенном доме везде дует, - замечает Артур с ленивой усмешкой. - Это называется отсутствием отопления. Не нужно искать в каждой щели тайну.

- Не везде. Только там, где за стеной пустота.

- Там окно было, - вдруг подаёт голос Михалыч и чешет затылок под каской. - До революции, говорят. А потом, при коммуналках, зашили. Мне ещё покойный бригадир рассказывал: мол, окно заколотили в сорок четвёртом, после обстрела. Заколотили и забыли, а потом уже никто не помнил, что там вообще было.

- Значит, окно может сохраниться, - говорю я, и чувствую, как внутри всё начинает звенеть, как стекло на сквозняке. - Если его заколотили, а не разбили, оно может быть целым. Нужно вскрыть. Хотя бы небольшой зондаж, на пробу, сантиметров сорок на сорок. Я понимаю, что это охраняемый объект, но если мы не посмотрим сейчас, потом может быть поздно.

- Нет, - говорит Седов.

Я оборачиваюсь.

Он стоит в трёх шагах от меня, чуть ниже, на ступеньке. Его лицо в полумраке выглядит таким же закрытым, как и утром, но между бровями залегла тонкая вертикальная складка.

- Нет разрешения на вскрытие, - произносит он, и каждое слово падает отдельно, как гвоздь. - Это охраняемый объект. Любое вмешательство в конструкции, даже минимальное, согласовывается с комитетом по охране наследия: заявка, обоснование, срок рассмотрения три недели. И до этого вы не вправе прикасаться к фанере, даже пальцем. Принесите мне основания, Вероника Сергеевна, а не интуицию. Если за ней действительно окно, это замечательная новость, и тогда мы обсудим, как действовать дальше.

Я открываю рот и закрываю обратно. Внутри клокочет возмущение, но возразить нечего. Он прав. Он абсолютно, до обиды прав.

- Хорошо, - выдавливаю я. - Основания так основания.

- Хорошо, - кивает он, как будто подводит черту.

Остальной обход проходит как в тумане. Мы мерим этажи, фотографируем, составляем список аварийных участков. Артур о чём-то громко спорит с Михалычем по поводу кровли. Седов молча идёт впереди и записывает что-то в чёрный блокнот механическим карандашом. Я иду следом и почти не слушаю.

Когда обход заканчивается, все выходят на улицу, под дождь, к машинам. Я говорю, что забыла в доме перчатки, и возвращаюсь в парадную одна.

На площадке между вторым и третьим этажами темно. Я кладу руку на фанеру.

- Я вернусь, - шепчу. - Честное слово. Я найду основания, и они будут такими, что ни один человек не посмеет сказать «нет». Ты только потерпи ещё немного.

Фанера молчит, но через щель снова тянет сквозняком, длинным и тёплым, как выдох.

Я поворачиваюсь, чтобы уходить, и вижу его. Седов стоит внизу, у подножия лестницы, прислонившись плечом к колонне. Дверь парадной у него за спиной приоткрыта, и дождь шумит так, что я не слышала шагов.

Сколько он здесь стоит? Он слышал?

- Ключ у вас? - спрашивает он, и в голосе нет ни насмешки, ни любопытства.

- У меня, - отвечаю я, и на всякий случай хлопаю по карману куртки, где лежит чугунная тяжесть.

- Не потеряйте. Он единственный, и без него мы будем неделями ждать слесаря, который не сломает замок восьмидесятых годов.

- Я не теряю вещей, Глеб Андреевич, - улыбаюсь я, и сама удивляюсь, что улыбаюсь. - Только иллюзии. Это, знаете ли, гораздо легче, чем искать потом по всему дому.

Что-то мелькает в его лице, не улыбка, но что-то в её соседстве, как свет, который проходит мимо окна.

- Тогда ищите основания, Вероника Сергеевна, - говорит он тихо. - Я подожду.

И уходит под дождь, не оглянувшись.

Глава 4

Три закона и один кот

Ника

Квартира Сони находится на Петроградской стороне, на третьем этаже дома с лепными масками над окнами. Масок восемь, и все смотрят на улицу с выражением людей, которых вытащили из тёплой постели ради чужой драмы. Я снимаю у Сони комнату вот уже пять недель и успела с ними подружиться.

- Ты пришла мокрая, - констатирует Соня из кухни, даже не обернувшись. - Значит, дом тебя уже полюбил. Он ведь всегда любит тех, кто готов мокнуть ради него, правда? Раздевайся скорее, у меня сковородка стоит, а ты мне ещё должна подробный отчёт.

- Откуда ты знаешь про дом? - спрашиваю я, стягивая промокшие ботинки и пытаюсь понять, как она угадывает такие вещи.

- Ты говоришь про него третий вечер подряд, Никуш. Я детский стоматолог, я каждый день смотрю в рты и слушаю, как человек говорит про то, что для него важно. Ты не врешь, когда рассказываешь про дом, у тебя тогда лицо светится, как лампочка в операционной. А когда рассказываешь про начальника, у тебя дёргается левый глаз. Вот, смотри, опять дёргается!

- Не дёргается, - возмущаюсь я и прикрываю глаз ладонью.

- Дёргается, дёргается, не отпирайся.

Я кладу сумку на табурет и иду мыть руки. Соня Ермолаева, ей двадцать девять лет, у неё короткие светлые волосы, торчащие вихрами, и такой смех, будто кто-то рассыпал по полу горсть монет. Мы познакомились в Ярославле, на свадьбе общих друзей, и три года переписывались, прежде чем я решила приехать. Она встретила меня на Московском вокзале с плакатом «Беглая реставраторша» и первым делом отвела в «Пышечную».

На холодильнике висит жёлтый стикер. Я приклеила его в первый вечер: «Только работа». Рядом чужим, круглым почерком приписано: «Ага». Это Соня.

- Ты его так и не стёрла, - замечаю я, косясь на стикер.

- Я наблюдаю за развитием событий, - невозмутимо отвечает Соня и выставляет на стол сковородку с чем-то картофельным и очень ароматным. - Ну так где этот ужасный человек? Тот самый, который сказал тебе, что нужны основания, а не интуиция. Я хочу знать, как именно он это сказал: с презрением, с усталостью или с холодным интересом.

- Он не ужасный, Сонь, - вздыхаю я и сажусь за стол. - Он правильный. Это гораздо хуже, потому что с ним не поругаешься. Он говорит ровно, смотрит прямо, а ты стоишь и понимаешь, что он прав в каждом слове, и злиться можно только на себя.

Серый кот Бухгалтер, который живёт здесь на правах полноправного акционера, запрыгивает на подоконник и смотрит на нас с тем выражением, с каким налоговый инспектор смотрит на чужую отчётность. Раз в день он сводит баланс: сбрасывает со стола одну чашку. Ровно одну, не больше. Сегодня, судя по тишине, очередь ещё не дошла.

Мы едим, и я рассказываю про дом. Про ключ, про лестницу, про десять слоёв краски. Про фанеру, из-под которой дышит пустота. Соня слушает, подперев подбородок кулаком, и не перебивает, что для неё настоящий подвиг.

- А он что? - спрашивает она, когда я наконец замолкаю. - Глеб Андреевич. Как он реагирует, когда ты загораешься? Не может же человек остаться равнодушным, когда на его глазах кто-то разговаривает со стеной и находит в ней сквозняк.

- Никак он не реагирует. Стоит с лицом закрытого музея и смотрит.

- Красивый? - Соня прищуривается, и я понимаю, что от этого вопроса мне не уйти.

- Соня!

- Я же не спрашиваю, нравится ли он тебе, я спрашиваю, красивый ли. Это профессиональный интерес, я прикидываю, насколько всё серьёзно.

- Объективно, наверное, да, - нехотя признаю я и ковыряю вилкой картошку. - Но это не имеет никакого значения, у меня три закона. Не подписывать без чтения, не связываться с начальством и не быть удобной. Я их написала не просто так, и я собираюсь их соблюдать.

- Помню, помню, я бы повесила их на стену, если бы ты разрешила. - Соня отодвигает тарелку и смотрит на меня уже серьёзно. - Это всё из-за Москвы, да?

- Да.

Про Москву я рассказывала ей урывками, в лицах и без подробностей. Сейчас, в тёплой кухне, под монотонное урчание Бухгалтера, мне вдруг хочется рассказать целиком. Может быть, чтобы напомнить самой себе, почему я так держусь за эти три закона.

- Реставрационная мастерская «Палитра», - начинаю я тихо. - Лучшая, куда я могла попасть в двадцать три года. Руководил ею Игорь Валентинович Ломов, человек с отличным вкусом, мягкой бородой и привычкой класть руку на плечо, когда ты объясняешь ему, что делаешь. Он видел во мне талант и говорил об этом каждый день, и я была счастлива, Сонь. Я работала по четырнадцать часов, писала за него отчёты, мы выиграли вместе два гранта. А потом, в ноябре, после очередного удачного заказа, он пригласил меня на ужин, «обсудить моё повышение». Ресторан на Патриарших, свечи, вино, его рука на моей руке. Я вежливо отказалась. Он вежливо удивился. Я отказалась ещё раз, и он перестал удивляться.

Соня молчит. Бухгалтер на подоконнике замер, даже хвост перестал двигаться.

- Через две недели моя фамилия исчезла из акта по церкви в Замоскворечье, - продолжаю я. - Через месяц на конференции он выступил с докладом по моему исследованию известковых составов, и ни одного слова обо мне. Когда я пошла разбираться, в отделе кадров мне сказали, что «данных о вашем авторстве у нас нет, Вероника». Когда я пошла к нему самому, он посмотрел на меня с такой грустью и сказал, что я слишком эмоциональна, и мне стоит подумать о своей профессиональной адекватности. Я ушла в апреле. Потом два года училась не вздрагивать, когда мужчина старше сорока говорит: «Давайте обсудим это за ужином».

- Вот поэтому и никаких начальников, - тихо говорит Соня и берёт меня за руку через стол. - Даже самых правильных.

- Особенно самых правильных, - киваю я. - Они хотя бы не притворяются.

- Нет, наоборот, - возражает она. - Они опаснее всех, потому что объясняют, почему это совсем не то, что ты подумала. А Глеб Андреевич твой что, тоже объясняет?

- Он ничего не объясняет. Он просто смотрит, и мне от этого почему-то хочется выпрямить спину.

- Вот именно, - с торжеством произносит Соня и тянется за хлебом. - Это очень плохой симптом, Никуш.

Мой телефон оживает на столе. Высвечивается фотография пожилой женщины в платке, с лопатой и в очках, залепленных гипсом: бабушка Лидия Петровна. Я принимаю вызов, ставлю на громкую связь и откидываюсь на спинку стула.

- Никуся, ты ела? - начинает бабушка вместо «здравствуй». - Только честно, не как в прошлый раз, когда ты сказала «ела», а потом оказалось, что ты ела чай с печеньем.

- Ела, бабуль, правда. Мы с Соней картошку жарили, с луком и с грибами, - отвечаю я, и Соня подмигивает мне через стол. - Привет тебе от неё, кстати.

- Картошка, Никуся, не еда, а гарнир, - строго замечает бабушка, и на том конце слышно, как она гремит чайником. - Мясо где? Ты в Петербурге, а не на острове Робинзона. Хоть куриную грудку купи, на рынке сейчас недорого. Ладно, не об этом. Как твой дом? Не обижает?

- Не обижает, бабуль. Но и не пускает. - Я набираю воздуха, потому что про это могу говорить бесконечно. - Там на лестнице есть окно, заколоченное фанерой. Все говорят, что

просто окно, но из-за фанеры дует, и звук такой, будто за ней пустота. Я чувствую, что там витраж, понимаешь? Просто знаю, и всё.

- Чувствует она, - фыркает бабушка, и я слышу, как скрипит её старое кресло. - Интуиция, Никуся, это когда тебе кто-то уже рассказал, а ты забыла кто. Начальник что говорит? Разрешил вскрывать?

- Сказал, что нужны основания. Письменные, с документами, а не интуиция. Что без разрешения комитета он ничего трогать не даст.

- И правильно сказал, умный человек. - Бабушка вздыхает так тяжело, что динамик хрипит. - Слушай меня внимательно, потому что я тебе второй раз объяснять не буду. Люди врут в письмах, врут в воспоминаниях, врут на фотографиях. А в счетах не врут никогда. Ищи счета, Никуся. Кто заказывал, кто делал, сколько стоило, как доставляли и в каком ящике. По счетам видно всё, до последней гвоздики.

- Бабуль, ты гений, - выдыхаю я. - Как я сама не догадалась?

- Я не гений, я просто старая, - ворчит она, но по голосу слышно, что довольна. - Давай, ешь свою картошку и найди себе мясо. Целую.

Она отключается так же внезапно, как включилась. Соня смотрит на меня с уважением.

- Хочу такую бабушку, - вздыхает она.

- У тебя тоже есть.

- Моя бабушка выращивает кабачки и искренне считает, что я зарабатываю на жизнь тем, что мучаю детей. Она даже просила меня не рассказывать об этом соседям, чтобы не позориться.

В этот момент Бухгалтер с достоинством, не торопясь, сбрасывает со стола чашку. Она падает на плитку и разлетается на три аккуратные части.

- Баланс сошёл, - торжественно объявляет Соня.

- Он делает это каждый день?

- Ровно в тот момент, когда ты счастлива, - усмехается она, поднимаясь за веником. - Чтобы не расслаблялась.

Я смеюсь и впервые за вечер чувствую, что внутри всё хорошо. Потом вспоминаю ровный голос: «Принесите мне основания, а не интуицию». И мне хочется принести. Не ради него, конечно. Ради дома. Просто хочется увидеть, как он поднимет глаза от бумаг и скажет, что я права.

Я быстро отгоняю эту мысль и иду собирать осколки.

Остаток недели проходит в беготне. Мы с Михалычем замеряем влажность стен, расставляем датчики, подписываем акты об аварийных участках. Он быстро перестаёт называть меня «барышней» и начинает называть «Вероникой Сергеевной», а через пять дней просто «Никой». Я привожу ему термос с чаем, он мне крепкую шутку про дизайнеров, и мы в расчёте.

Артур со мной вежлив. Ужасающе, отточенно вежлив. Присылает письма с копией Седову, где пишет «хочу уточнить» и «чтобы не было разночтений». Каждое письмо звучит как мелкий укол. Я отвечаю ему без эмоций, коротко, по существу, и чувствую себя человеком, который ведёт переписку с неискренним роботом.

В пятницу вечером я подаю заявку в комитет по охране наследия на «минимальный зондаж на лестничной площадке». Приложений к ней пока нет. Нужно писать «обоснование», а в обосновании пока что одно слово: «чувствую». Седов подписывает заявку без комментариев, и я это ценю. Он не обещал ничего, кроме того, что подождёт.

Я иду домой в дождь, и мне кажется, что бабушка права: основания лежат где-то в архивах, ждут, пока я приду и вытряхну их из пыли.

В понедельник я иду искать счета.

Глава 5

Воскресенье в Репино

Глеб

Мой отец живёт в Репино, в доме, который сам спроектировал в девяносто восьмом: деревянный, двухэтажный, с зимним садом на южной стороне и мастерской на втором этаже, где вечно пахнет масляными красками и скипидаром. Он называет это «дачей». Я называю это «последним оплотом человека, который так и не признал, что можно жить скромнее».

По воскресеньям я приезжаю сюда на обед. Это не традиция, это договорённость. Мы с отцом не разговариваем ни о чём, что может испортить еду, а когда он нарушает договор, я встаю и ухожу в сад.

- Дядя Гля! - Тимоша вылетает мне навстречу из кустов, в красной куртке и огромных резиновых сапогах, и со всего маху врежется мне в ноги. Ему четыре года, и последнее время он называет меня именно так, потому что «Глеб» пока слишком сложно, а «дядя» без «Гля» кажется ему недостаточно торжественным. - Я поймал червяка! Он дрессированный, я его уже научил лежать, когда я говорю «лежать», и не уползает!

- Привет, командир, - я присаживаюсь на корточки, чтобы быть с ним вровень. - А как его зовут? Я должен знать имя, если мы собираемся вместе обедать.

- Червяк Иванович! Только ему нельзя утку, он её боится, потому что она больше его, - серьёзно объясняет Тимоша и протягивает мне на ладони нечто извивающееся.

- Приятно познакомиться, Червяк Иванович, - говорю я, осторожно жму червяку невидимую руку, и Тимоша хохочет так, что с ближайшей ели срывается ворона.

Варя, моя сестра, стоит на крыльце с полотенцем на плече, и я вижу, как она незаметно утирает щёку. Она всегда так делает, когда видит нас вместе с Тимошей. Говорит, это от дыма: у неё в пекарне вечный дым.

Сестре тридцать три года. У неё свой хлебный магазин на Крестовском, муж Игорь, который занимается лодочными моторами, и абсолютная непробиваемая уверенность, что мне надо жениться. Я не спорю. Спорить с Варей бесполезно: она слышит только то, что хочет услышать.

- Ты опять похудел, - вместо приветствия говорит она, обнимая меня одной рукой, потому что в другой у неё половник. - Глеб, я не шучу, ты стал выглядеть как рентгеновский снимок: всё видно, а чувств никаких. Заходи, поешь нормально, а не твоими бутербродами из автомата. Папа сделал утку, и он очень волнуется, так что, пожалуйста, скажи, что вкусно, даже если окажется, что не очень.

- Я не худел, а просто работаю, - отвечаю я и целую её в висок. - И утку ем всегда, даже когда она пересолена.

- Вот и умница.

Папа сделал утку. Это звучит как заголовок статьи про конец света.

Андрей Павлович Седов, семидесяти лет, в рыбацком свитере с распутившимися рукавами, встречает меня у плиты с половником в руке. У него густые белые волосы, которые он считает признаком мудрости, и взгляд человека, который знает про тебя больше, чем ты сам готов признать.

- Глебушка, - говорит он, широко раскинув руки, и в голосе слышна привычная театральность. - Мой мальчик! Ты вовремя, утка ещё не успела меня предать. Садись скорее и ничего не говори, я сам знаю, что ты хочешь сказать про банк, про Кравца и про то, что я неправильно режу лук. Лук у меня режется так, как он хочет, а не как велят поваренные книги.

- Я хотел сказать, что ты нормально режешь лук, - улыбаюсь я и усаживаюсь за стол.

- Ложь, - довольно заявляет отец. - Но очень приятная.

Мы садимся за стол. Утка действительно получается удивительно вкусной, и первые двадцать минут мы едим молча. Тимоша лопочет про червяка, Варя подкладывает мне картошку, отец делает вид, что не следит за моим лицом.

- Ну а как новая сотрудница? - наконец спрашивает он, ковыряя вилкой яблоко, и спрашивает так небрежно, что я сразу понимаю: этот вопрос он носил в себе с самого начала обеда. - Ты же говорил, что взял кого-то из Ярославля. Мне Ирина как-то обмолвилась, что девушка с характером.

Я не вздрагиваю. Я никогда не вздрагиваю. Но почему-то именно этот вопрос звучит громче всех предыдущих.

- Нормально, - отвечаю я как можно ровнее. - Она хороший специалист, пап, лучший из сорока трёх кандидатов. Мы выбирали по анонимному тестовому заданию, никто не знал, кто это, пока не подсчитали баллы. Работает по четырнадцать часов, спорит со мной, чаще всего по делу. Нашла в доме Круглова заколоченное окно, о котором никто не подозревал, и я передал её заявку в комитет. На этом всё.

Отец и Варя переглядываются. Не победно, а скорее встревоженно. Они оба знают, что я никогда не говорю про сотрудников «на этом всё».

- Понятно, - мягко говорит отец. - Ну и хорошо, значит, у вас всё складывается.

- Пап, не лезь, - вмешивается Варя и бросает на него короткий предупреждающий взгляд.

- Я не лезу, я рассуждаю. Это совершенно разные глаголы, Варенька.

Мы возвращаемся к утке. Тимоша спрашивает, можно ли дрессированному червяку тоже кусочек, и Варя отвечает, что дрессированные червяки питаются исключительно воздухом и добрыми словами.

После обеда я выхожу в сад, и отец, как всегда, нарушает договор. Выходит следом, держа в руке две кружки чая.

- Я не про неё, - говорит он, протягивая мне одну. - Про тебя. Хочу кое-что сказать, а ты можешь уйти, если не захочешь слушать. Я не обижусь, я привык. Только дай мне договорить до конца, потому что второй раз я не соберусь.

- Не уйду, - обещаю я.

- Тогда слушай. - Он смотрит на сад, где по газону гоняется за бабочкой Тимоша, и красные сапоги мелькают в траве. - Я понимаю, почему ты пишешь такие договоры, Глеб, и откуда это идёт. Я сам тебе его подарил, это правило,нося его по дому, как гранату без чеки. Но в последнее время я всё чаще думаю, что дело было не в том, что мы с Ларисой делали. А в том, что я это скрывал. И что я позволил ей отвечать за то, что мы решали вдвоём.

Я смотрю на пар над кружкой. Отец говорит тихо, без привычной шутовскости, и от этого становится не по себе.

- Мама ушла не потому, что у меня был роман, - продолжает он. - Она ушла потому, что я два года врал ей каждое утро, глядя в глаза за завтраком. И потому, что я один решал, как всем нам жить: за неё, за вас с Варей, за Ларису. Я думал, что лучше знаю. Это, сынок, и было настоящей ошибкой, а совсем не то, о чём шептались в бюро.

- Ты хочешь, чтобы я тебя простил? - спрашиваю я, и голос звучит жёстче, чем я хотел.

- Нет, этого я не прошу. - Он качает головой. - Я хочу, чтобы ты перестал строить стену там, где нужна дверь. Подумай над этим, просто подумай, больше мне ничего не надо.

Он дотрагивается до моего плеча и уходит в дом. Я стою с горячей кружкой в холодеющем воздухе и не знаю, что чувствовать. Тимоша подбегает и показывает мне что-то, зажатое в кулаке.

- Дядя Гля, смотри! Это не червяк, а камень. Он тоже дрессированный, только умеет лежать лучше, чем червяк, потому что не пытается убежать.

- Приятно познакомиться, - говорю я камню, и мне почему-то становится легче.

Вечером я возвращаюсь в город, ставлю машину у дома на Шестой линии и, вместо того чтобы подняться в квартиру, еду в офис. Это тоже привычка. Дома слишком тихо.

Офис пуст. Горит только одна лампа в мастерской, и я иду на свет, не включая верхнего.

Она сидит за столом, поджав ногу, и что-то пишет. Волосы собраны карандашом, на щеке пятно графита. Перед ней стопка книг с закладками, ксерокопии, распечатки каких-то архивных описей. Она ничего не слышит. На ней огромные наушники, из которых доносится что-то тихое и гитарное. Время одиннадцать вечера. Воскресенье.

Я мог бы сказать, что она нарушает режим. Мог бы потребовать, чтобы шла домой. Но стою в тени дверного проёма, смотрю на её сосредоточенное лицо и думаю: «Она ничего не просила и ничего не ждёт. Ни одобрения, ни поощрения. Она просто делает то, во что верит».

Это так непохоже на людей вокруг меня, что я на секунду забываю, зачем пришёл.

Я иду на кухню. Ставлю чайник. Завариваю чёрный чай и режу лимон, как всегда делаю для себя. Потом достаю вторую кружку. Руки действуют сами, раньше, чем я успеваю подумать.

Я ставлю кружку на её стол, на самый край, чтобы не задеть бумаги. Она не поднимает головы. Я возвращаюсь в свой кабинет и закрываю дверь.

Через пять минут слышу сквозь стену тихое «ой» и потом смех. Тот самый, неожиданный, как рассыпанные монеты. Она, видимо, решила, что чай оставила Ксения.

Пусть так.

Я сижу в темноте и понимаю, что сделал первую за много лет вещь, которую не смог бы внести в таблицу. Ни в какую графу. Ни под какой пункт.

Она не должна знать. Ничего страшного не произошло. Это всего лишь чай.

Глава 6

Счета не врут

Ника

Центральный государственный исторический архив в понедельник утром выглядит как собрание людей, которые договорились не разговаривать. Читальный зал, зелёные лампы, шорох бумаги, старушка в очках, которая смотрит на меня так, будто я принесла в храм бутерброд.

Я приношу три просьбы. Фонд Круглова Н. Ф., купца второй гильдии, торговца чаем. Строительное дело на дом по Седьмой линии. Архив Санкт-Петербургской городской управы, раздел «Домовые книги». Мне выдают тяжёлые папки, перевязанные тесёмками, и я сажусь за стол, как садятся за рояль перед концертом.

Первые два дня проходят впустую. Я нахожу план дома, подписанный архитектором Верховцевым, любопытное прошение о подключении водопровода, несколько писем о тяжбе с соседом. Нахожу список жильцов за тысяча девятьсот двенадцатый год: вдова с двумя детьми, фотограф, три чиновника. Читаю про то, как они жаловались на холод и тараканов. Мне уже кажется, что я лично знакома с вдовой и что ей надо отправить гуманитарную помощь.

На третий день, вечером, когда за окном уже зажигаются фонари, я открываю папку «Расходы по строительству», переплетённую так плотно, что страницы приходится придерживать ладонью.

Страница сорок вторая. Желтоватая бумага, фиолетовые чернила, ровный писарский почерк.

«Счёт мастерской витражей Э. Р. Гауфа, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект. За изготовление витражного окна для парадной лестницы по эскизу г. Верховцева, сюжет «Журавли», семь птиц, оправа свинцовая, стекло цветное, двух сортов, с прорисовкой. Триста сорок рублей. Доставлено в двух ящиках, установлено в апреле 1894 года».

Я перечитываю три раза. Потом достаю телефон, фотографирую страницу, фотографирую ещё раз, с другой стороны, потом просто сижу, прижав ладонь ко рту.

«Журавли». Семь птиц.

Старушка в очках поднимает голову. Я шепчу «простите» и не могу перестать улыбаться.

Это ещё не всё. Остаётся второй документ: нужно доказать, что окно не было уничтожено. Я просматриваю описи военных лет, акты проверок, сводки управдома. Читаю про бомбоубежище, про поломанные трубы, про перебитые стёкла. В четверг вечером, уже перед самым закрытием читального зала, я нахожу последнюю бумагу.

Акт управляющего домом от четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок четвёртого года. Короткий, написанный простым карандашом, на обороте какой-то ведомости:

«Окно лестничное, витражное, на площадке между вторым и третьим этажами, ввиду опасности повторных обстрелов зашито фанерой изнутри и снаружи по предписанию МПВО. Витраж частично повреждён осколками, остальное цело. Сохранить до возвращения мастеров».

До возвращения мастеров. Я держу этот листок в руках и чувствую, как кто-то, кого давно нет, смотрит на меня из-за плеча. Кто-то написал это слово «сохранить» в зимнем, голодном городе, чтобы сохранить цветное стекло с птицами. А мастера так и не вернулись.

Я возвращаюсь.

В офисе горит свет. Дождь за окнами стоит стеной, потоки хлещут по стёклам, и только в кабинете в конце коридора ровно светится лампа. Я не думаю. Я просто иду туда с папкой в руках, мокрая, в заляпанных ботинках, и стучу в дверь костяшками пальцев.

- Войдите.

Седов сидит за столом без пиджака, в закатанных рукавах, с очками для чтения на кончике носа. Я никогда не видела его в очках. В очках он выглядит иначе: усталым и более человечным. Он снимает их и смотрит на меня, на мои мокрые волосы, на папку.

- Вероника Сергеевна, вы промокли до нитки. Что-то случилось? Вы ведь должны были быть в архиве до шести, я видел это в вашем графике.

- Я принесла основания, - выпаливаю я, так и не отдышавшись, и кладу папку на стол, раскрыв её на сорок второй странице. Рядом ставлю распечатки фотографий, а потом, последним, подвигаю акт сорок четвёртого года. Руки у меня влажные, и бумаги прилипают к столу, как к мокрому асфальту. - Вот, смотрите. Счёт мастерской Гауфа, тысяча восемьсот девяносто четвёртый год, витражное окно «Журавли», семь птиц. А вот акт управдома из блокады: окно зашито фанерой, витраж частично повреждён, но остальное цело. Сохранить до возвращения мастеров. Понимаете? Оно там. Оно ждёт.

Он надевает очки обратно и читает. Молча. Долго. Я смотрю на его лицо и замечаю, как оно меняется: сначала спокойное, потом сосредоточенное, потом неожиданно мягкое. Когда он доходит до слова «сохранить», я вижу, как у него чуть-чуть двигаются губы.

Потом он поднимает глаза.

- Вы сидели в архиве три дня подряд? - спрашивает он тихо, и в голосе слышно что-то, чего я раньше не слышала. - Я думал, вы просто просматриваете описи, а вы нашли счёт, которого не было ни в одном из каталогов. Как вам это удалось?

- Четыре дня, если считать понедельник, - поправляю я. - А счета не врут, Глеб Андреевич. Это бабушка сказала. Люди врут в письмах и воспоминаниях, а в бухгалтерии всё записано точно: кто заказывал, сколько заплатил и как везли. Вот я и искала не красивые слова, а цифры.

- Ваша бабушка сильный специалист, - произносит он, и уголок рта слегка дёргается. - Передайте ей мою благодарность, хотя она меня не знает.

- Она тридцать лет в мастерских Эрмитажа проработала. Так что она вас прекрасно знает, она таких начальников видела сотнями.

Он смотрит на меня очень странно. Как будто что-то давно закрытое внутри него медленно проворачивается на петлях.

- Журавли, - произносит он. - Семь птиц.

Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил это слово так. Вслух, коротко, с уважением.

- Если окно сохранилось, - торопливо говорю я, потому что молчать невозможно, - оно меняет всё. Охранный статус, смету, сроки, отношения с Кравцом, всё. Я понимаю, какие будут последствия, и я готова с ними жить. Мне просто нужно ваше слово, что вы поддержите заявку, потому что без вас комитет даже читать её не станет.

- Вы понимаете, что говорите, и всё равно пришли, - медленно повторяет он, откидываясь на спинку кресла. - Значит, вы либо очень храбрая, либо очень наивная, Вероника Сергеевна.

- Я реставратор, - пожимаю я плечами. - Нам можно и то, и другое. Это входит в профессию, как умение не чихать от пыли.

Тогда он смеётся.

Не улыбается, не усмехается, а именно смеётся: коротко, неожиданно, с лёгкой хрипотцой, будто давно не пользовался этим звуком. Лицо меняется до неузнаваемости. Исчезает складка между бровями, пропадает музейная отстранённость. На секунду он становится просто человеком, которому смешно и приятно, и у меня в груди что-то делает неожиданный кулбит.

«Так, - думаю я. - Отставить».

- Я подпишу дополнение к заявке, - говорит он, быстро вернув серьёзное лицо, но глаза всё ещё смеются. - Мы приложим эти документы, и я лично поеду в комитет, потому что письма они читают месяцами, а людей принимают за три дня. Три недели никто не обещает, но с

такими основаниями будет быстрее. Вам нужно составить техническое описание зондажа: размер, метод вскрытия, меры безопасности. И желательно к понедельнику.

- Уже составила, - сообщаю я с достоинством. - Оно лежит в папке под счётом, вторая страница.

- Конечно, составили. - Он качает головой, и в голосе проскальзывает что-то похожее на восхищение. - Вы что, переночевали в архиве, чтобы принести мне эту бумагу?

- Нет, - честно отвечаю я. - Но я успела бы, если бы понадобилось.

- Верю.

Мы замолкаем. Дождь шумит за окном, в трубах гудит вода, где-то далеко щёлкает старый радиатор. Мне вдруг становится неловко. Наверное, потому что в кабинете очень тихо, потому что мои ботинки оставляют на полу мокрые следы, потому что он смотрит на меня слишком внимательно.

- Я поеду домой, - говорю я и подбираю папку. - Уже поздно, а завтра к девяти нужно быть с графиком зондажа.

- Я могу вас подвезти, - предлагает он, вставая из-за стола. - Дождь сильный, а до метро идти минут десять, вы окончательно промокнете. Мне всё равно по пути.

- Спасибо, не нужно, метро рядом, и я не растворюсь, - отвечаю я, и сама слышу, как поспешно это звучит. - Я люблю дождь. Он помогает думать.

Пауза. Долгая.

- Хорошо, - соглашается он. - Тогда завтра в девять, с графиком зондажа.

Я иду к двери, чувствуя его взгляд между лопаток. Горячий и спокойный. У порога оборачиваюсь.

- Глеб Андреевич, спасибо вам за чай в воскресенье.

Он замирает. Я вижу, как по его лицу пробегает что-то стремительное: удивление, растерянность и тут же маска, ровная, как лист ватмана.

- Это был не я, - говорит он. - Это Ксения оставила. Она часто ходит по офису вечерами и поит всех подряд.

- Конечно, - улыбаюсь я. - Я так и подумала.

Ксения по воскресеньям не работает. Но об этом я ему не скажу.

В метро я сажусь у окна и смотрю на своё отражение в тёмном стекле. Мокрые волосы, смятая куртка, чёрные круги под глазами. И улыбка. Большая, глупая, ничем не прикрытая улыбка человека, которому сегодня кто-то сказал «верю».

Я быстро стираю её с лица. Потом, на всякий случай, вспоминаю жёлтый стикер на холодильнике Сони и повторяю вслух, тихо, чтобы никто не услышал:

- Начальник это просто начальник.

Поезд въезжает в тоннель. Отражение исчезает, но мне ещё долго кажется, что улыбка осталась.

Глава 7

Журавли

Ника

Разрешение приходит через три недели и два дня. Я успеваю возненавидеть слово «рассмотрение» и выучить наизусть расписание заседаний комитета. Ксения вскрывает конверт при мне, пробегает глазами и молча протягивает листок. В нём написано, что «в порядке исключения, с учётом представленных архивных документов, допускается вскрытие участка площадью не более 0,16 квадратного метра под контролем представителя комитета».

Ноль целых шестнадцать сотых. Сорок на сорок сантиметров. Это как смотреть на океан в замочную скважину.

Но я счастлива.

В день зондажа на площадке между вторым и третьим этажами собираются все. Михалыч с ножовкой и двумя рабочими. Артур с планшетом, чтобы всё зафиксировать, как будто будет что фиксировать. Инспектор комитета, строгая женщина лет пятидесяти с папкой и красным карандашом. Ирина Марковна, которая делает вид, что зашла случайно, и стоит в углу с очками на цепочке. И Глеб Андреевич, который стоит у перил в серой рубашке и ничего не говорит.

Я размечаю границы мелом. Руки у меня почти не дрожат.

- Начинаем, - говорит инспектор, и в её голосе столько официальной строгости, что я невольно выпрямляюсь. - Напоминаю, что вскрытие производится строго в пределах отмеченного участка. Любое отклонение будет зафиксировано в протоколе и может повлечь приостановку работ. Пётр Михайлович, прошу вас, очень осторожно.

- Не впервой, - бурчит Михалыч, вставляя полотно ножовки в первый пропилен. - Я эту фанеру как родную глажу, вы не переживайте. Если что, я и ножом дорежу, ножом даже надёжнее.

Фанера стонет, как старая лодка. Дерево пахнет сыростью, и с каждым движением вниз сыплется серая пыль, ложится на ботинки, на перила, на мои волосы. Я стою на коленях рядом, придерживаю щит, чтобы не свалился, и слышу, как у меня стучит сердце.

Левая сторона. Верх. Правая. Низ.

Щит поддаётся и отходит, как крышка старого сундука.

За ним ещё одна стена: жёлтоватые клочья газеты, набитые в щель между слоями. Я осторожно вытягиваю один из них и разворачиваю. «Ленинградская правда». Март тысяча девятьсот сорок четвёртого. Сводка Совинформбюро, колонка о ремонте трамвайных путей, объявление о потерянной хлебной карточке. Кто-то заткнул щели этой газетой, чтобы не дуло, и случайно сохранил для меня целую маленькую жизнь.

- Дальше, - тихо говорит инспектор. - Осторожно. Вероника Сергеевна, вы единственная, кто здесь понимает, что именно может оказаться внутри, поэтому лучше вы.

Я убираю клочья газет, один за другим, и наконец дотрагиваюсь рукой до чего-то холодного и гладкого.

Стекло.

Оно покрыто таким слоем пыли, что сначала я ничего не вижу. Беру мягкую кисть, провожу сверху вниз, и из серой мглы, как из тумана, выплывает цвет.

Синий. Глубокий, густой, как небо за час до ночи.

Я ещё раз провожу кистью. Ещё. Появляется золото: тёплое, медовое, горящее изнутри. Появляется тонкая свинцовая линия, оправка, потемневшая, с белым налётом окиси, но целая. А между линиями, на золотом поле, рисунок: изогнутая шея, узкая голова, длинный клюв. И глаз. Один круглый янтарный глаз, прорисованный тончайшей коричневой краской.

Журавль смотрит на меня из-за фанеры, как смотрел восемьдесят лет назад на тех, кто заколачивал гвозди.

Мир куда-то уходит. Я слышу только собственное дыхание.

- Вероника Сергеевна, - зовёт кто-то издалека. - Ника, вы меня слышите?

Я не сразу понимаю, что по щекам у меня катятся слёзы. Горячие, неожиданные, без всякого предупреждения. Я утираю лицо тыльной стороной ладони и размазываю по нему пыль.

- Это не я, - бормочу я, шмыгая носом и совершенно не понимая, кого пытаюсь обмануть.

- Это пыль. Она в глаза попала, у меня на неё аллергия, а в таких домах её особенно много, вы же видите.

- Конечно, пыль, - произносит рядом ровный голос.

Седов стоит прямо надо мной. Я не заметила, как он подошёл. Он протягивает мне белый носовой платок: настоящий, хлопковый, тщательно проглаженный, с аккуратной вышивкой в углу: «Е. С.».

Я беру. Платок пахнет чистотой, мылом и чем-то очень далёким, как старый шкаф с бельём. Прижимаю его к лицу и пытаюсь взять себя в руки. Не выходит.

- Простите меня, - говорю я в ткань, и голос дрожит. - Я обычно не плачу на работе, правда. Вы, наверное, подумаете, что вы наняли истеричку, которая рыдает над каждым куском стекла. Но я столько недель ждала, что это окажется правдой, и боялась, что там ничего нет, что я напридумывала, что вы были бы правы и мне пришлось бы признать, что я ошиблась...

- Я не заметил, что вы плачете, - серьёзно отвечает он.

- Вы врёте. В бюро второе правило: не врать.

- Я говорил: не врать, когда это можно проверить. Проверить, плачете вы или нет, нельзя, потому что это пыль, мы с вами оба так решили.

Я издаю то ли смешок, то ли всхлип. Он молча опускается на корточки рядом со мной, так что наши лица оказываются на одном уровне, и смотрит на стекло.

Минуту никто не говорит ни слова. Ирина Марковна в углу тоже подошла ближе и тихо стоит, сняв очки. Михалыч снял каску, хотя ему никто не велел. Даже Артур молча опустил планшет.

- Птица, - басит Михалыч, и голос у него неожиданно мягкий. - Хозяйка, там птица. Я сорок лет на объектах, а такого не видел: чтобы под фанерой, в пыли, да такая красота. Как же её не разбили, а?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.